

УДК 930.1

**ЯЗЫК СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ:  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

С.Б. Крих

**Аннотация**

В статье сделана попытка обрисовать особый язык советской исторической науки на примере анализа советской историографии древности. Отмечается важность исследования в заявленном научном поле, предлагается трактовка понятия *язык историографии*. Описаны две основные взаимосвязанные характеристики языка советской исторической науки: возведение всех смыслов к абсолютной истине и ориентация на ортодоксальность. Выявлены специфические страхи советской историографии, отразившиеся в её языке.

**Ключевые слова:** история исторической науки, методология историографии, советская историография, история древности, язык историографии.

Изучение отечественной исторической наукой своего недавнего прошлого в последние годы всё чаще вызывает если не к переоценке, то к существенной корректировке тех выводов, которые ранее казались очевидными. Связано это со многими причинами: ростом вводимых в оборот источников, в том числе личного происхождения (мемуары и переписка историков, архивные материалы – личные дела, черновики статей и т. п.), сменой поколений исследователей и развитием самой науки. На сегодняшний день, по сути, необходимо заново дать характеристику советской историографии, а требования к этой будущей характеристике можно сформулировать в негативном ключе: она не может быть повторением выжимок из «классических» трудов Маркса и т. д.; она не может быть повторением автохарактеристик из учебников по историческому материализму<sup>1</sup>; она не может, наконец, быть воспроизведением слишком эмоциональных оценок постсоветского периода. Очевидно, что все эти трактовки не следует повально отвергать, как не следует их и механически микшировать. Гораздо более полезным будет, изучив их, абстрагироваться от них и попробовать смоделировать некую системную характеристику, которая была бы уже целиком порождением современного понимания труда историка, а поэтому оказалась бы в состоянии претендовать на статус более или менее адекватного инструмента познания нашего прошлого.

<sup>1</sup> Например, когда А.В. Гордон [1] кладёт в основу изложения советской историографии концепт «партийности», то это и есть использование автохарактеристики, которую к тому же всё равно приходится частично или полностью перекодировать.

Заявить подобную широкую программу исследований всегда легче, чем попробовать исполнить хотя бы малую её часть. В конце концов, за мечты о создании интегральной теории обычно не критикуют, а вот за неудачные попытки её создания – сколько угодно. И тем не менее следует пойти на оправданный риск и предложить некоторые результаты своей работы в этом направлении, отлично осознавая их относительный и предварительный характер. Возможно, главная цель данной статьи – не столько в том, чтобы предоставить некоторые положения, которые не вызовут ни у кого сомнений, сколько в том, чтобы вызвать те сомнения, которые помогут добиться новых результатов.

### 1. Язык историографии: попытка дефиниции

В первую очередь необходимо оговорить, что предлагается понимать под *языком историографии*. Само это словосочетание часто используется совсем не как строго определённый термин, а скорее с целью обобщения некоего специфического набора образов и речевых клише, которые применяет та или иная историографическая традиция и которые могут дать представление о её стилистических особенностях. Оно воспринимается в качестве яркой, но второстепенной черты при рассмотрении общего развития исторической науки применительно к тому или иному периоду или региону. Представление это исходит из методологической посылки, согласно которой основой для анализа любого исторического произведения или их совокупности (неважно, авторской или коллективной) является вычленение и упорядочение смыслов, в нём заложенных. Эти-то смыслы, центральные идеи находятся на первом плане. Что же касается стилевых и прочих украшений, то они полезны примерно так же, как лепнина на домах сталинского ампира.

Но можно строить исследование на иной методологической основе, которую, в частности, принимаем и мы: постижение смыслов происходит только посредством текста (письменного, устного или даже визуального<sup>2</sup> – не так важно), и, следовательно, особенности построения текста, возможности и пределы избранного языка повествования определяют не только возможность нашего (как читателей) восприятия идей, но даже возможность их формулировки (со стороны автора). Тем самым, путь в царство идей лежит только через пространство текста, и анализ текста – не дополнение к уже достигнутому знанию, а начало постижения сущности мира историка.

С этой точки зрения язык историографии – это совокупность лингвистических явлений, свидетельствующих о некоей знаковой системе, которая, будучи встроена в общий язык науки и в язык вообще (или несколько языков – хотя эти случаи всегда требуют отдельного обсуждения), обладает при этом рядом специфических характеристик, проявляющих базовые установки и логику мышления данной конкретной историографической школы (или отдельного исследователя). Это система кодов и опознавательных знаков, которые рождаются в процессе развития определённой системы воззрений, разделяемых более или менее широким кругом историков, выражающая их особенное отношение и подходы к предмету своего исследования. Помимо вышеуказанного эта система помогает

---

<sup>2</sup> Так, подбор иллюстраций и их расположение в определённом порядке – тоже в глубинном смысле текст.

опознанию и отделению «посвящённых», «своих» от «профанов», «чужих», сокращает и облегчает коммуникации в своём кругу, но затрудняет понимание контекста и подтекста коммуникации для посторонних.

Ниже мы попробуем обрисовать общие особенности языка советской историографии, опираясь на материал, который предоставляет анализ исследований древности, принадлежащих советским историкам. Акцент будет сделан на рассмотрении системы терминов, системы образов и формы построения повествования в советской историографии древности. Мы полагаем, что изучение этих вопросов является актуальным не только в чисто академическом смысле: не стоит спешить сравнивать прошлое состояние с современным, но не следует и забывать об их преемственности.

## 2. Базовые характеристики: апелляция к истине и ортодоксальность

Представляется корректным говорить о двух главных характеристиках, фиксирующих основы языка советской историографии: *апелляции к истине* и *ортодоксальности*. На их пересечении возникает некоторое «силовое поле», порождающее своеобразный тип уверенности в достижении поставленных целей (то есть в научности полученных результатов). Оно порождает, впрочем, и определённые страхи и комплексы, свойственные именно советской историографической традиции.

*Апелляция к истине* предполагает возведение своего исследования к уже известной (достигнутой ранее) конечной истине. В терминологии советской историографии это формулируется обычно как приверженность марксистско-ленинской методологии. Это определение тем не менее не вполне точно: по сути, для советского историка речь шла не о методологии (которая, кстати, в реальном своём воплощении, именно как методология, оказывалась «пустотной» и могла наполняться различными смыслами – от позитивизма и неопозитивизма до неокантианства), а о теории истории или даже об исторической социологии. Ведь не случайно для определения взглядов советского историка было важнее то, разделяет ли он теорию пяти общественно-экономических формаций, чем то, насколько корректно он разбирается в законе отрицания отрицания или в тонкостях соотношения производительных сил и производственных отношений: грань между «ортодоксами» и «еретиками» (об этом см. ниже) обозначалась именно по первому признаку.

Например, в 60–70-е годы, когда в советской историографии повторилась дискуссия об азиатском способе производства (80-е годы – стадия затухания дискуссии), линия водораздела была прочерчена между защитниками рабовладельческой концепции (отредактированной версии теории В.В. Струве) и сторонниками различных теорий своеобразия древневосточных обществ. При этом фактически разграничение в понимании конкретных исторических реалий произошло вовсе не там же, где эта линия: многие «сторонники рабовладения» прекрасно отдавали себе отчёт в относительно малом количестве рабов в странах Востока, их ничтожном удельном весе в экономике древних обществ, в невозможности обозначить отличие между ролью и положением рабов в древних и средневековых восточных обществах (что, соответственно, ставило вопрос о корректности принятой периодизации всемирной истории). С этой точки зрения разность

позиций таких учёных, как И.М. Дьяконов, Г.Ф. Ильин с одной стороны и В.П. Илюшечкин, Г.А. Меликишвили, Л.С. Васильев с другой стороны, является не столь существенной (при всём противостоянии Дьяконова и Меликишвили по ряду конкретных вопросов). Разделял их лишь тот факт, что одни считали допустимым (при всех оговорках) сохранять определение обществ Древнего Востока как рабовладельческих, другие же (с учётом тех же оговорок) считали, что это невозможно в принципе.

В контексте большинства историографических школ этот накал дискуссии может выглядеть в лучшем случае как проявление торжества схоластического мышления. Но специфика схоластического мышления в том и состоит, что оно бьётся за истину, которая уже известна, и иногда бьётся за неё против фактов, с которыми не может её до конца примирить. Эту дискуссию нельзя отложить на время, подождав, пока будет собрано достаточное количество новых фактов, способных прояснить основные вопросы, – потому что советскому историку в своей непосредственной работе было недостаточно знать, что у него есть правильный механизм поиска истины, он должен был уже знать истину, чтобы быть в состоянии заняться непосредственной работой.

Именно поэтому апелляция к истине имела значение не только в начале и в завершении работы (в текстовом воплощении – в прологе и эпилоге), но фактически на любой стадии её проведения. Эта апелляция совершенно обязательно выражалась в непосредственных цитатах из «классиков» (Маркса, Энгельса, Ленина, а в 30-е – начале 50-х годов – Сталина), гораздо важнее было использование маркированной терминологии – именно с её помощью решались многие проблемы. Правильное именование того или иного явления фактически снимало все сложности, касающиеся его характеристики. Поэтому, например, для советского историка было важно не описать, кем являлся «бак» или «гуруш» соответственно в древнеегипетском и шумерском обществе, а выяснить или даже *раскрыть*, был ли он рабом, «подневольным работником рабского типа» (!) или просто зависимым работником.

Естественно, любая наука использует терминологию для того, чтобы сделать возможной обработку и типизацию изученного материала, и в этом смысле слова для любой системы знаний вопрос о терминах играет не последнюю роль. Но есть системы, которые готовы принять строгие «устоявшиеся» определения лишь как некоторую условность: признавая ограниченность любых абстракций, они стараются использовать термины примерно так же, как этикетки для отделения одного вида понятий от других; в этом случае важен контекст использования того или иного понятия, а не его значение вообще. В системе советской науки термины – не абстракция, а отражение объективной истины, то есть реальность высшего порядка (примерно как эйдосы в платонизме), значит, они не могут использоваться легкомысленно. Потому-то советских исследователей так возмущало, когда они находили в работах западных историков знаковые для них слова (*капитализм, революция*) в неуместном контексте, прежде всего когда их использовали не как строгие определения, а как образы для проведения аналогий [2, с. 5–8]. Правда же заключалась в том, что застывшие, с чётко обозначенной сферой применения термины были не отражением всегда подвижной реальности (а она такова, даже если дело касается изучения далёкого прошлого),

но отражением высшей реальности, непоколебимой в своём сиянии абсолютной истины. Утрата такой терминологии обязательно мыслится как путь к хаосу, к беспорядку в науке [3, с. 81].

Итак, в контексте советской исторической науки исследование – отдалённый аналог мифологического ритуала, то есть повторение известного на неизвестном материале, что в ткани непосредственного повествования (текста) означало изложение разнообразия единообразным языком, обязательный «перевод» понятийной системы изучаемого исторического социума в собственную систему понятий и дальнейшее манипулирование именно этими, однажды постигнутыми, *раскрытыми* терминами. В общих чертах это можно назвать языком констатации – он не выясняет причин и следствий конкретных событий, но рассказывает материал таким образом, чтобы найти в нём черты всегда одной и той же истории с раз и навсегда определённой причинно-следственной цепью.

Этот принцип обладает необычайной властью над умами исследователей. С особой силой и парадоксальностью это показало постсоветское время: отказ от большинства теоретических положений советского марксизма, который был манифестирован рядом крупных исследователей древности, ничуть не нарушил их советско-марксистского способа мысли. Внешняя линия разлома теперь пролегла между теми, кто отказался от марксизма (И.М. Дьяконов, Л.С. Васильев), и теми, кто продолжал отстаивать его научную ценность (Ю.И. Семёнов, Е.М. Штаерман), но в действительности их споры по отдельным вопросам истории всё так же оставались в рамках специфического схоластического языка советской школы. Как замечал один из рецензентов на книгу И.М. Дьяконова «Пути истории» (1994) [4], знаменующую собой отказ знаменитого востоковеда от марксизма, а заодно и от рабовладельческой концепции, «марксизм... и его формационная теория плохи для автора не тем, что вышли из лона гегелевской философии, и не тем, что вносят в историю политэкономические категории, а лишь тем, что формации “неправильно” определены и посчитаны» [5, с. 149–150].

Основная же цель *ортодоксии* заключалась в том, чтобы помочь историку никогда не терять из виду центральную тему любого своего исследования: даже если оно посвящалось развитию изобразительного искусства, он должен был видеть за всем этим развитие производительных сил и классовую борьбу, то есть апеллировать к уже известной истине. Но при этом ортодоксальность языка советской историографии отнюдь не является только лишь дополнительной характеристикой апелляции к истине, как это может показаться на первый взгляд, ведь апеллировать к истине можно по-разному, в том числе и через оригинальные языковые ходы, подчёркивающие авторский индивидуализм, несмотря на приверженность общим взглядам. В советской историографии всё иначе: здесь все хотят быть правыми, если понимать это слово в том смысле, в котором оно используется в политическом процессе. Трактовки теории должны быть адекватными и чистыми от примесей, в том числе и от чрезмерной оригинальности. Последняя хороша лишь в том случае, если это – оригинальный путь к ортодоксии. Всё это в совокупности усредняло язык и задавало определённые рамки его развития, в первую очередь – нежелательность обновления терминологической и образной подсистем языка или, как писал один исследователь, «строгость к терминологии» [3, с. 73].

Даже если мы обратимся к работам Ю.И. Семёнова, который впервые в большом масштабе стал изобретать новые термины, то увидим, что он при этом, оставаясь самым большим оригиналом среди советских историков, тем не менее не выходил за пределы общего языка. Принципиально новый этап в развитии понятийного аппарата, выразившийся в валлообразном нарастании числа терминов, Семёнов начал лишь в то время, когда язык советской историографии стал распадаться (вслед за самой советской историографией) и новации Семёнова могли рассматриваться уже как его личный выбор. При этом, что специфично, в среде его сторонников появился термин *ортомарксизм*. Так даже самые парадоксальные трактовки в рамках советского (постсоветского) марксизма высказывают претензии на единственно возможный и правильный подход: как и обычно, нет врагов хуже, чем марксисты с близкими взглядами, как нет ереси хуже, чем та, что ближе всех к ортодоксии<sup>3</sup>.

Воплощение ортодоксии возможно лишь в том случае, если показана изначальность и преемственность терминологии, да и самой структуры повествования. Первый аспект более распространён, поскольку сравнительно легко реализуем даже для лишённых дара повествования исследователей, второй требует большей утончённости, зато и отпечатывается в стиле историка навсегда.

Второй аспект проявляет себя в сознательном или несознательном воспроизведении особенностей аргументации и повествования из наиболее талантливых произведений «классиков». Для историков это были работы, в которых сочетались элементы социологического анализа с изложением исторических фактов: «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Маркса или «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Энгельса (отчасти это можно сказать о «Марке» Энгельса). Правда, в большинстве случаев речь шла не о полном копировании структуры этих работ, а об использовании аллюзий на них, которые помогали историкам насытить собственные исследования дополнительными смыслами, не артикулируя их подробно.

Но первый аспект, более грубый, был всё же и более очевидной заявкой на ортодоксию: сходство структуры улавливается хуже, чем сходство терминологии. Терминология при этом по факту могла (и даже неизбежно должна была) насыщаться новым содержанием, но акцент обычно делался на её полном соответствии канону. Вариант трактовки, при которой утверждалось, что Маркс мог ошибаться в некоторых частностях или что его мировоззрение развивалось в течение жизни, а потому труды разных лет имеют неодинаковую ценность, всегда проигрывал трактовке, согласно которой «недвижимый» Маркс имел в виду в своих работах именно то, что сейчас приписывает ему исследователь. Подмена такого рода в самом грандиозном и всеобъемлющем масштабе была совершена в 30-е годы XX века, когда и был смоделирован советский вариант

---

<sup>3</sup> В начале 2000-х годов с их нехваткой новой научной литературы на семинарах по истории Древнего Востока из года в год повторялся один и тот же казус. Когда в теме, посвящённой дискуссиям об «азиатском способе производства» в советской историографии, я спрашивал у студентов, почему же в начале 30-х годов победила концепция В.В. Струве, они без тени сомнения отвечали: «Потому что Струве был марксистом». И удивлялись, когда я напоминал им, что все участники дискуссии были марксистами (иначе, собственно, у них не было бы предмета спора). Чтение советской литературы (том числе книги В.Н. Никифорова [6]) создавало у студентов устойчивое ощущение того, что проигравшие – вообще не марксисты или «ненастоящие» марксисты.

схемы исторического процесса – тот самый, в создание которого внёс свой немалый вклад В.В. Струве (с теорией рабовладельческих обществ Востока [7]) и который был канонизирован в теоретическом параграфе «Истории ВКП(б)», написанном самим Сталиным [8]. Схема смены пяти общественно-экономических формаций отныне была целиком приписана Марксу, как и учение о рабовладельческой формации. Конечно, после Сталина осуществлять подобные крупные перевороты было невозможно, но это было уже и не нужно.

### 3. Страхи советской историографии

Названные выше специфические характеристики порождают и уникальные страхи, свойственные советской историографии и отражающиеся в её языке. Так, обычно историк всегда боится ошибиться в своей реконструкции прошлого – этот страх выдают его многочисленные оговорки, когда он указывает, что пока вопрос изучен недостаточно хорошо, и стремление привести взаимоисключающие трактовки, чтобы создать у читателя ощущение беспристрастного изучения вопроса. Советский историк гораздо больше боится неправильного отождествления: если «гуруши» на самом деле рабы (или не рабы – неважно), значит, он неверно истолковал самого Маркса (Энгельса, Ленина etc.). Страх стать еретиком был тем более сильным, что ошибка могла повлечь за собой вполне реальные последствия, повлияв если не на жизнь и свободу, то почти всегда на карьеру и благосостояние (и даже на допуск к профессии). Именно поэтому «частокол цитат» опоясывал те работы, в которых авторы чувствовали себя особенно неуверенными, и нападки на «буржуазную историографию» были особенно сильны там, где историк боялся за слабость собственных позиций. Отчасти это служило защитой и от другого распространённого страха учёных: боязни серьёзного человека высказать курьёзные положения – можно смеяться над историком, когда он говорит от своего имени, но трудно высмеивать историка, цитирующего Маркса.

Можно добавить и ещё один страх, кажется, тоже специфически отразившийся именно в языке советской историографии, отразивший сразу и её особый путь апелляции к уже известной истине, и ортодоксальность: это подчёркнутое, напряжённое неприятие любых проявлений «модернизации истории», вплоть до малейших намёков. Советская историография буквально демонизировала случаи проведения аналогий между прошлым и настоящим и тщательно подбирала слова, чтобы самой оказаться чистой от этих обвинений: так, египетское государство времён XVIII династии не называлось империей, но – «военной державой», та же тенденция проявлялась в описании и Ассирии в VIII – VII вв. до н. э., и государства, созданного завоеваниями Александра. Для советской исторической науки всегда имели значение внутренние характеристики, поэтому называть империей любое крупное государство, созданное путём завоеваний, было не принято, «империя» для этого – слишком солидное слово. И хотя *держава*, по сути, лишь калька со слова *империя* и обладает ничуть не большей определённо-стью, но замена символически значимого слова на символически менее значимое создавала иллюзию решения проблемы.

Иногда это доходит до почти парадоксальных примеров. Так, В.В. Струве, рассказывая о роли добываемого в Каппадокии серебра в древней ближнево-

сточной истории, приводит слова Маркса о значении открытия испанских серебряных рудников в греко-римской древности, которое кажется «основоположнику» подобным значению открытия американских рудников для современной Европы. При этом сам историк решается лишь сравнить испанские и каппадокийские рудники, то есть древность с древностью [9, с. 66, прим. 6].

Действительная основа страха перед модернизацией истории лежала, на наш взгляд, в глубинном противоречии советской историографии: она претендовала на абсолютно адекватное постижение прошлого, но при этом переводила все характеристики этого прошлого на язык собственных (застывших) терминов. Термины эти были созданы на определённом этапе развития марксистской теории, и потому сам факт их широкого применения по отношению ко всем историческим обществам и ко всякой исторической эпохе создавал опасность той самой модернизации. Единственным выходом была охрана незыблемости терминологической (шире – теоретической) базы, отстаивание того, что термины и теория были не созданы Марксом и Энгельсом в середине XIX в., а открыты ими, выведены на свет из их предвечного изначального существования в качестве основных законов человеческого бытия. В каждой эпохе находились одни и те же главные, глубинные аналогии: эксплуататоры и эксплуатируемые, несоответствие производственных отношений производительным силам. На этом фоне проведение других аналогий размывало величие основной теории, указывало на ненадёжность и часто поверхностность аналогий основных.

Язык советской историографии обладал свойствами обязательности и принудительности: в том смысле, что любое высказывание в этой системе терминов было предпочтительнее для сообщества историков, чем близкое по смыслу высказывание, лишённое специфических языковых маркеров. Часто это превращало исторические работы в настоящие дебри научного сленга. Конечно, эти избытки стиля очень скоро стали осознаваться историками, начался поиск баланса между авторским началом и принятым в исследовательском сообществе жаргоном. Тем не менее такое положение вещей сыграло свою роль в том падении престижа исторической науки, которое произошло в 90-е годы и, кажется, продолжается по сей день: специальные исторические работы советского времени после отказа от преподавания истмата в вузах сразу же перешли в разряд нечитаемых, а многим историкам так и не удалось найти сбалансированный новый стиль письма: за пределами откровенно популяризаторских работ не появляется хорошо написанных и при этом действительно исследовательских произведений. Второй фактор в этом разрыве связей между профессиональными историками и их потенциальными читателями – изменившиеся ориентиры читателя, но это уже тема отдельного исследования.

### Summary

*S.B. Krikh. The Language of Soviet Historiography: A Preliminary Sketch.*

The article attempts to outline the specific language of Soviet historical science based on the example of Soviet historiography of antiquity. We emphasize the importance of scientific research in the field stated, and propose an interpretation of the *language of historiography* concept. The main part of the article describes the two main characteristics of the language of Soviet historical science: the elevation of all meanings to an absolute truth and the focus



on orthodoxy; the relationship and interaction between these characteristics are shown. We also reveal specific “fears” of Soviet historiography, which were reflected in its language.

**Keywords:** history of historical science, methodology of historiography, Soviet historiography, history of the ancient world, language of historiography.

#### Литература

1. *Гордон А.В.* Великая Французская революция в советской историографии. – М.: Наука, 2009. – 377 с.
2. *Робертсон А.* Происхождение христианства. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959. – 324 с.
3. *Данилов А.И.* К вопросу о методологии исторической науки // Коммунист. – 1969. – № 5. – С. 68–81.
4. *Дьяконов И.М.* Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. – М.: Вост. лит., 1994. – 383 с.
5. *Толочко О.П.* [Рец.] И.М. Дьяконов. Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. М.: Вост. лит., 1994. 383 с. // Археология. – 1995. – № 4. – С. 148–151.
6. *Никифоров В.Н.* Восток и всемирная история. – М.: Наука, 1975. – 350 с.
7. *Струве В.В.* Проблема зарождения, развития и разложения рабовладельческих обществ Древнего Востока // Изв. ГАИМК. – 1934. – Вып. 77. – С. 32–111.
8. История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. – М.: Правда, 1938. – 352 с.
9. *Струве В.В.* Очерки социально-экономической истории Древнего Востока. – М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. – 76 с.

Поступила в редакцию  
10.11.2013

---

**Крих Сергей Борисович** – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия.  
E-mail: [worldhistory2002@mail.ru](mailto:worldhistory2002@mail.ru)